

Вадим Макшеев.

Гонение. Хроника одной крестьянской семьи

*И даром думает, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую боль,
Любую боль.
А. Твардовский*

Оплаканы исчезнувшие стародавние деревни, простоявшие века на больших трактах и вдали от них, оплаканы горевшие и возрождавшиеся из пепелищ милые чьим-то сердцам места, где рождались и которые покидали, где встречались и разлучались, где умирали... Сколько этих ушедших в небытие русских деревенок и деревень с их дубравами и погостами, церквами и часовенками, отзвеневшим малиновым звоном колоколов... Разорено, отголошено.

Я о других — без срубленных на долгую жизнь домов, без широких улиц, без церквей. О сибирских деревнях ли, поселках ли, которым не сказано последнее прощание и названия которых скоро некому будет ни вспомнить, ни помянуть. Да и именовались-то они поначалу порядковыми номерами: пятый, одиннадцатый, тринадцатый, и лишь после ненадолго обрели названия — одни в память об оставленных их подневольными жителями родных селах, другие по месту расположения: Дальний Яр, Березов Яр, Огнев Яр, третьим названия присвоили власть имущие: Новая жизнь, Сталинка... И все они тоже исчезли, истаяли, словно дым когда-то проходивших мимо них по Васюгану колесных паровозиков.

Там на крутоярах таежной реки прошла и моя подневольная юность. Рвался оттуда — не отпускала комендатура, затем не отпускал колхоз, уехал лишь через двадцать лет. Расставался легко, но чем ближе к исходу жизни, тем чаще стало вспоминаться прошлое, потянуло взглянуть на места, где осталась молодость, потянуло, какими бы горькими подчас ни казались воспоминания.

И вот через много лет собрался, поехал туда с женой, у которой молодость прошла тоже там и которую привезли туда девчужкой с Прииртышья в таком далеком сегодня тридцать первом.

Помню — давно-давно, летом сорок пятого под скатом нагретой солнцем крыши гулко от пустоты колхозного склада, где громко чирикали потревоженные воробьи среди груды запыленных амбарных книг я обнаружил толстую тетрадь. Под темной клеенчатой обложкой был список привезенных в нашу Красноярку первых спецпереселенцев. На пахнущих затхлым страницами выведенные каллиграфическим почерком имена, отчества, годы рождения... Больше тысячи человек. Взрослые, дети. Много детей... Имена, имена, имена... Столбцы имен. Словно поминальник.

Когда нашел ту тетрадь, в Красноярке жило пятьдесят семь человек. Всех — старых и малых. Малых совсем немного. Не все, кроме тех пятидесяти семи, умерли, — часть в начале тридцатых увезли еще дальше в верховье Васюгана, часть отправили на стройку в Кузбасс, кого забрали в тридцать седьмом, кого взяли во время войны на фронт и в трудармию. Но половина... Половина

из того списка схоронена в Красноярске. Мужчины, женщины, дети. Из земли вышедшие, в землю ушедшие.

Помню — пели в нашей деревне сложенную безвестным поэтом бесхитростную песню. Бывало, возвращаемся с покоса в лодке, и по тихой ночной реке далеко разносятся берущие за душу женские голоса про горькую спецпереселенческую долю:

Зачем вы от них отказались?
За что же сослали вы их?
Они уж себя не жалеют,
лишь жалко им деток своих...
Согнали их всех беспричинно
в веселые майские дни.
Ох, сколько здесь маленьких деток
в сырую могилу легли...

Я пережил тут ссылку в сороковых и пятидесятых годах. Страшное время. Но привезенным сюда первыми было трудней. С оставшимися из них я прожил вместе много лет. Вместе работал, делил трудный хлеб, так же, как они, был обездолен и унижен. Знаю, как они жили, когда я еще был далеко от этих мест, знаю, как жили до того, как их самих привезли сюда, и если описать жизнь каждого, хватило бы на десятки томов. Я приведу лишь несколько отрывочных рассказов членов одной семьи. Приведу так, как рассказывали они сами: Анна Васильевна Беспрозваннова и ее дочери: Евдокия, Мария, Александра.

Анны Васильевны уже нет в живых. Померла она на восемьдесят третьем году далеко от своего Большеречья, где родилась, выросла и рожала детей, померла вдали и от того крутояра, на котором прилепилась оставившая по себе иную память нищая Красноярка, где довелось ей прожить треть жизни.

И когда впервые приехала она в город, дивилась не каменным многоэтажным домам (они-то казенные), а основательным деревянным:

— В каких домах люди живут... Нешто их не раскулачивали?

Тихонечко вздыхала о своем:

— Поразогнали, различтожили... Кака я была сильна, могутна... Все куды-то подевалось. Руки не владеют, поди, уже и корову подоить не смогла бы...

Незадолго перед смертью привиделось ей во сне:

— Видела седниБородиниху — быдто она корову погнала. Я же знаю, что у нее ноги болят, а тут шибко так побежала. И наша коровенкабыдто отстала, я ее тоже гоню, бегу, да не могу за Бородинихой поспеть. Поди, померла в инвалидном доме. Я когда к Клавдии ездила, и ее попроведала. Сказала тогда мне напоследок: «Давай, Аннушка, попрощаемся, как надо быть». — «А чо?» — «Да ведь помрем, не свидимся более».

Ушла из жизни вскоре и Анна Васильевна. Заснула, трое суток не пробуждалась, перед смертью глаза открыла, хотела что-то сказать... Дала ей дочь яблоко: «Может, поешь, мамонька?» Так с яблоком в руке и скончалась. Никого не намаяла.

Через пять лет похоронили рядом с ней старшую дочь Клавдию. Стоит одна оградка на двоих на краю кладбища, видно оттуда с бугра третье, последнее в жизни Анны Васильевны село. Видны крытые шифером дома, разрушенная церковь, пахнет пихтовой хвоей и старыми венками, ветер доносит гул идущих в распадке по знаменитому когда-то почтовому сибирскому тракту автомашин и голоса с вздымающейся в гору улицы.

В этом пыльном, с раздавленными тракторами улицами селе живут две дочери Анны Васильевны. Не было просвета в жизни у Евдокии, нет крестьянской работы, которую бы не переделала... Надеялась к старости обрести покой, на пятом десятке вышла замуж за вдовца, вырастила пятерых чужих детей, а доживает век одинокой в оседающем в землю доме... И Мария живет одиноко — первый муж погиб на фронте, второго — Ивана — схоронила на том же бугре, где схоронена мамонька.

Был Иван старше ее на шестнадцать лет. Иван да Марья... Все, все сполна хватили лиха.

Младшая — Александра. С ней мы поженились весной пятидесятого в Красноярске. Через двенадцать лет переехали в город, а все снится ей деревня. Снится наша коровенка, которую мы тогда завели. Будто стоит она во дворе некормленная, худая, с запавшими боками. И телушка не поена, и во дворе сколько дней не чищено... Спыхватится во сне: «Господи, что же я о них забыла? Как же так случилось?» Пробудится — за окном город, в многоэтажном доме напротив светятся чьи-то прямоугольники окон, гудит водопроводная труба на кухне... Нет коровенки, дворишка, нет деревни. Все в прошлом.

И вот мы с ней медленно идем по заросшей травой елани, по земле, на которой была деревня, наша убогая Красно-ярка. И так же, словно боясь кого-то потревожить, ненароком наступить на что-то, на что нельзя наступать, идут рядом приехавшие с нами двое наших земляков. Тоже муж и жена, тоже бывшие спецпереселенцы. И память об этой деревне у нас тоже общая.

Теснит лес когда-то просторное место, придвинулось бывшее далеким и, кажется, сжалась покинутая земля. Ямы, гнилушки, давно остывшие кирпичи... Все заросло, и тянутся по примятой траве проторенные нами следы. Помню, как тридцать лет назад стояли здесь последние заброшенные избы, одиноко торчали осинки с темными скворечниками, и ветер разносил запахи тлена. Печально и жутко было здесь, чудились чьи-то голоса, чье-то недавнее дыхание...

Но я не о том, что не стало Красноярки, ей и не суждено было долго быть. Как не суждено было сотням других исчезнувших спецпереселенческих поселков. Я о другом — за что страдали здесь, за что умирали? За какую такую вину? За что и как?..

Пусть расскажут те, кто тут жил. Расскажут, как это было, как произошло. Пусть они. Еще не самые обездоленные судьбой, а пережившие, выжившие. »

Евдокия:

Семеро было в нашей семье — тятя с мамонькой, бабонька — восемьдесят с лишним лет, да нас четверо девчонок. Рожала мамонька боле, да остальные ребятишки махонькимипопримерли. Тогда ведь баба на сносях, а все работает. У кладей рожали, снопы подает, присядет, тут же и сродит. Потому и детишки не живущи были. Меня мамонька на покосе родила, а через пять дёнтятя ее опять сено гресть повез. Хозяйство ведь, как бы мы без своо хозяйства? Коров держали, овец, птицу... Свиной не помню, не было, вроде, свиной. Бабоньканаша еще до Советской власти для купца Калижникова зерно по деревне закупала. Купец этот в Евгашино, а бабонька в Большеречье. Амбар свой был. Хлеб в него ссыпали, а потом деданька возил его в

Евгацино. После, когда тятя отделился, тот амбар себе перевез и теплый двор из него сделал. Коров завел, а масло продавал все этому же Калижникову.

Мамонька наша с бедных, у отца ее, дедушки Василия, кроме нее, шестеро было. Ртов много, потому ее к себе дядя на воспитание взял. В семнадцать лет на конных граблях сено гребла, всякую тяжелую работу делала. А на девятнадцатом году тятя ее сосватал. С одной деревни они, мамонька сказывала — не дружили, знали только друг дружку, дружить зазорно считалось. Так, жениться ему надо было и все. Братовья извозом промышляли, пошту гоняли из Тары в Омск, а он, значит, коров завел.

Тогда ведь как работали? В страдну пору бабе расчесаться некогда, заноз в ладонях не чуюли. Маяли себя... Тятя коровам зимой воду с Иртыша возил, чтобы на прорубь не гонять, за сеном на шести подводах во втором часу ночи выезжал. Покуда доедет, воза накладет, только к обеду дома. Все сам. А ведь нездоровый был, грыжа у него была и голова за все болела. Потому и на германскую не взяли, в Омске сколько-то тогда пробыл, и домой отпустили. А работник у нас был Сенька — этого с Пасхи до Покрова нанимали. Коров мамонька доила, Клавдия уже большенькая, меня тоже приучали. Лошадей держали то ли семь, то ли восемь. Один жеребец смирный, другой выездной шибко дикий. Покуда тятя его запряжет, на месте не стоит, опосля из ограды только успевай держи... Тятя на ём круг объедет, потом обратно мимо ворот, тогда уж мамонька в кошеву падат...

Хлеба сколь-то сеяли, а молотилка у соседей была, давали им лошадей на молотьбу, за это и наши снопы обмолачивали. Веялка своя была — тяжелушша — насилу двое ручку вертели. Еще сенокосилка да конные грабли. Боле никаких машин. А вязать снопы в страду бабы деревенские помогали. Тятя им за это хлебом платил.

Раскулачили в двадцать девятом. По-первости налогом разоряли, только тятя уплатит, следом из сельского Совета извещение — сызнава плати, еще больше. Потом хлеб отобрали, затем все остальное.

Мария:

Девять лет мне было, помню — со школы пришла, а у нас дома люди чужие. Мамонька мне пальцем погрозила и на печку показывает: «Лезь!» А те добро описывают — в ящиках, кладовке, на вышке, в подполе — везде обрыскали: «Никуда ничего не девайте, иначе худо будет». А еще вперед этого мужик к тятеньке приходил: «Дядя Митя, продавайте дом, вас с него выгонять будут».

— «Да неправда это, за чо выгонять?» А мужик тот под матку садился договариваться насчет дома. И жеребца хотел купить, сто девяносто рублей за него давал. Только тятенька ничо не продал: «Ой, да кто же отберет? За чо?»

Я еще девчущка была, а помню, как работали. Тятенька большущий воз снопов под бастрикнакладет, я на возу сажу высоко, высоко... Как-то ехали, а он песню пел: «Во субботу, день ненастный...» Задумался, поет про себя, голос хороший, чистый... Шестьдесят лет прошло, а осталось в памяти... И небо такое тогда было, и дорога, и снопы как пахли... Еще как лен дергали помню, как стлали его, холсты ткали, после на полянке по весне расстилали белить. Бывало, туда же нам, ребятишкам, валенки свезут мыть, окна, кадки из-под соленьев. И гусей там же пасли. Не мы одни, все деревенские ребятишки...

В мясоед описали, а выгнали из дому великим постом. Притаивало уже днями, уходили, а с ледяных сосуллек — кап, кап...

Выгнали, поселили в избушонкумахонькую, даже сеней не было, так, мало-мальски плетнем загорожено. Ленивые были хозяева, хоть жерденками можно было сверху закрыть. И над печью дыра, вишь, люди-то какие там жили... Тятенька поленом да тряпьем дыру заткнул, мы, девчонки, забралась на печь, не знаем, что с нами со всеми дальше будет. Вещи почти все отобрали, у бабоньки в ящике смертная одежда была припасена, так и ту не позволили взять. После уже кто-то принес в узелочке. Тятенька, крадучи, полтуши мяса привез — тут же отняли: «Ты чужое взял... И вазы верни». А вазы какие?

— Горшки глиняные. Тятенька сложил их в ведро и отнес.

Анна Васильевна:

Месяц прожили в черной избенке, утром заходят двое: «Сутки вам на сбор, завтра кулаков из села выгонять будем». — «Спаси Господь, ведь мы и так лишенные»... Ничо не слушают — чтоб наутро собраны были и весь сказ. Митрий подевался куда-то, я одна с ребятишками, суюсь из угла в угол, не знаю, кудычо девать, чо брать, и его нет и нет. Пришел, наконец. «Где тебя носит?»

— «Василисино золото доставал. Рубил мерзлу землю топором». Тут эвонакака беда на нашу голову, а он сестре пошел золото откапывать! «Ну и чо, достал?»

— «Достал. Думал, под одним столбом закопано, а оказалось под другим...» — «Много было?» — «Стакан». — «Чо же она тебе дала за это?» — «Два золотых»... Ох, скупа была... Нас за болото угнали, а она осталась. Когда померла, все соседи порастащили. А те два золотых я после, уже в Красноярке, соседу отдала, когда он с обозом за болото ходил. Голодовали шибко, а в торгсине на золото муки можно было купить. Видела — привез полнехонек куль зашитый, а мне полкуля высевок отдал.

Мария:

Когда из Большеречья выгоняли, дали нам рыжего конишку, копыта как лапти вперед высунулись, ходил на щетках. Скарб, какой был, сложили в розвальни, поверх нас, девчонок, усадили, тятя пешком, мамонька где присядет, где тоже пешком. Бабоньку в тот раз не тронули, она, когда еще нас из дому выгоняли, ушла в моленную жить. Была неподалеку от нашего дома моленная, кержаки там Богу молились, так и осталась в ней. Обоз большущий собрали, и конвойные при нем с ружьями. Помню — первую ночь в Евгашине провели, дом большой, просторный, и огонь всю ночь горел светлый, светлый... Народу много гнали, со всего района. В Таре в какую-то избушонку ночевать завели, и всех остальных кого куда, а кому места не хватило, тех в нардом согнали, потеперешнему вроде как бы клуб. Я туда поглядеть бегала, миру там полно было, теснотища, сидели и лежали на полу. У порога настыло, дверь отворят — морозный пар по низу стелется — зима ведь еще... Дальше уже вглубь погнали, в глухомань... Доехали до Петровки, там на хутор поселили. Хозяева не русские — чувашаи или еще какие — не знаю. Кроме нас, еще две семьи, да их своих одиннадцать человек. А мужиков погнали за болото бараки рубить, там они и жили в снегу.

У чувашей тех изба внутри нештукатурена, стены бревенчатые и нары большущие. Ничего не обихожено... Ребенок махонький в люльке... У нас-то люльки настоящие, а здесь, как ящик, и к этому ящику долгий очеп через всю избу. Коровы у них были. Сытые коровы, только во дворе не

чищено, стояли в навозной жиже. И баня по-черному, а там в бане большое корыто и в нем простокваша. Нам эту простоквашу позволяли брать.

А мужики все за болотом. И тятенька тоже. Через какое-то время и нас погнали к ним под конвоем за Кулай в гиблое место. Ночевали по дороге, помню черный лес, костер... Клавдия с Дуськой еще с хутора воротились домой, остались с мамонькой я да Шурка трехгодовалая. Мамонька, наверное, ночами в лесу глаз не смыкала, а мы в розвальнях, как птенцы, прижмемся, спим... Утром пробужусь — опять в пути, опять дуги качаются, полозья шорохтят, впереди воза, позади воза... У чьего-нибудь коня гуж лопнет либо завертка у саней порвется — весь обоз останавливается, стоим, ждем, куда наладят; зимник — одна колея, снежище в урмане и на болотах глубокий, не объехать. Чья-то собака бежала за хозяевами на высылку, не хотела отстать. Как-то гляжу — в снегу роется, полбуханки хлеба выкопала. Наверное, кто-то из мужиков, которых вперед угнали, припрятал, больше откуда тут хлебу взяться? Мамонька отобрала, после мы этот хлеб грызли. Мерзлый, холодный...

На всем пути один сруб видели — амбар из свежего осинника, там в амбаре были кули с мукой, и охрана к ним приставлена. Дали нам паек — по сколько-то муки на человека, и снова снежной колеей дальше от людей, от привольных мест... Перед концом пути через полую речку перебирались, в логах снег лошадям по брюхо, а речка уже вскрылась, стрежью берег моет. По мостику переехали, мужики его для нас загодя сделали. Сам Бог весть где и Бог знает как... От этой речки еще сколько-то проехали, и вот они, бараки. Много бараков — полсотни, а может, больше в тайге на вырубке. Вот вам дом, земля, тут ваша кулацкая доля. За то, что шибко работали, а ребятишкам за то, что родились на свет.

Наш барак был натрое разделен — на три семьи. Бревна осиновые неошкуренные, пол земляной, нары, два маленьких окошка без рам, вместо дверной скобы сквозь дыру палка просунута... Потолок бревенчатый, сверху землей закидан, печка железная. Когда затопили печь, с потолка потекло, мерзлая земля наверху стала оттаивать. А возле барака на березе собака висела, та самая, которая хлеб из снега выкопала. Повесил хозяин, видно, кормить нечем было. Так и висела.

Мамонька на печке лепешки пекла. Помню, кто-то дал туюсок рассола, так лепешки в рассол макали. Еще серу жевали. Бересту, кусочками нарезанную, в чугунок накладем, углями обложим, в дне чугунок дырочка, через нее сера в ямку стекает, в нашем бараке еще две девчонки жили — Клашенька и Фимонька, так вместе жевали. А мужики все бараки строили. С темна до темна...

Потом люди стали оттуда бежать. Видят — погибель тут всем. На погибель в болота привезенные. И тятенька с мамонькой тоже надумали бежать. И еще некоторые с нами договорились вместе уходить. А начальник, который над нами был поставлен, видно, еще милосердный был. Говорит: «Мужики, вы сегодня вечером уходите, а назавтра я за вами погоню послать должен. Так вы с дороги сойдите, переждите в лесу, иначе воротят вас». Сколько успели, дотемна прошли, затем сутки хоронились в урмане. Никто на нас не наткнулся. Обратно на дорогу вышли и подались в домашнюю сторону. Снег уже растаял, болота распустило, а след видно — дорога промята — много народу до нас бежало, которые и коней с собой вели. Тятенька Шурку на кукорках нес, позади мамонька рыжего нашего в поводу вела, по бокам на нем два куля со шмутками — все наше добро... У меня за спиной котомка, из тятенькиных портянок сшитая, на груди мешочек с сухариками. Шурка эти сухарики не хотела есть, все просила черного хлебушка... Колбу по дороге рвали, выросла уже колба.

У тятеньки шаг большой, он ростом высокий, еще сильный, хоть и здоровья ему Бог не дал. Это уже после, в тюрьме да Нарыме, весь изболел, а тогда сильный был. Ушел далеко вперед, народ отстал, а тут на пути развилка. Дорога надвое — в какую сторону податься? Решили — вправо. Идем, идем, все тятеньку догнать не можем. Кричать стали. Чуть слышно где-то слева откликнулся, выходит, он от развилки в другую сторону отправился. Услыхал, выбрался к нам напрямик на голос. Вместе еще сколько-то прошли и в болотину уперлись. До того пробирались по топкому, а тут вовсе огромныйрям, и дорога по нему уводит. Все, кто до нас бежал, здесь прошли. Неохватное болото, карагайником поросло, конца-краю не видать.

С нами Коровины шли, тоже большереченские, позабыла, как их звать, бездетные были, самих двое. У него ухват, у нее сковородник с долгимчереном — все богатство. Опирались на черена вместо посохов. Болото не болото — идти надо, один путь... Коровин впереди ухватом дорогу щупает, остальные за ним, бодожки себе выломали. По зимнику здесь обоз запросто протащился, а тут весна, дорога расплылась, зыбун... Недалеко пробрели — самовар брошенный, тулупишко на кочке. Дальше хуже — хлябь, карагайник рядом колышется... И кони дохлые на пути. Одни с кулями увязли, другие без ничего. Выбились из сил. Хвосты, морды болотной няшей облеплены...

И мы обезножели, заночевали посеред болота. Потом речку переходили, вода в ней черная-черная, и взбуннившегося коня в заверти крутило. Вроде к нам прибиться хочет, поднесет его течением и обратно затягивает... К вечеру выбрались в бор. Время — солнцезаход, на сосне красный флаг издали видно, может, дорогу указать кто-то его вывесил. Тут же на сухом ночевали. А как рассвело, из бора вышли на поляну озимой ржи. Ой, как красиво, какая яркая-яркая зелень! По левую руку село виднеется. Наверное, воскресный день был, печи топятся, дым из труб, пастух коров гонит... Уж какое красивое светлое село после той черноты, хляби, после всего... Стороной прошли, а собаки на нас издали лаяли. Шибко лаяли.

Где-то на болоте я сумочку с сухариками потеряла. Тесемочка развязалась, или еще как. Потеряла и все тут... Дальше шли — все уже живое, жилое. Взрослые в деревни заходить боялись — не воротили бы нас, а мы, ребятишки, стали забегать, милостыньку просить. Никто не спрашивал, откуда мы, чьи... Давали кто кусочков, кто картошки. Никто не попрекнул, подавали Христа ради...

Неподалеку от Екатерининска вышли к Иртышу. Мужики на пароме на тот берег переплыли, а бабы с ребятишками остались паром ждать. Уговорились с мужиками, если всех паром возьмет, знак им подать — махнуть платком с палубы. Сами они где-то схоронились, ожидали, как дальше быть. Боже мой, знали же, что если обратно, откуда выгнали, воротимся — добра не жди, а все равно домой стремились. Куда еще деваться?

Народу на берегу набралось черно — и те, которые раньше сюда вышли, и мы... Глядим — белый паром вдали показался. Ближе подошел, кричать стали. И он закричал... Как он кричал, гудел! Будто по всем нам голосил. К берегу причалился, всех взял. Иртыш широко разлился, махнули мужикам с середины реки — все, мол, погрузились. Все, все...

Мужики берегом в домашнюю сторону, и мы на пароходе туда же, вверх по Иртышу. Притулились, кто где, вповалку, всяко... Кто-то ночью окурок на меня бросил, прожгло платьишко до тела. Господи, какую чушь помню... Едем, радуемся. Ну, вот и приехали. День солнечный. Троица, народ на пристани... Тогда ведь каждый паром селом сбегались встречать. Сошли на берег. А где жить? Дом отобран, все отобрано... Дуська наша на берегу, тоже паром встречать прибежала, она уже тут, в своей деревне, в людях жила. Бабонька в моленной. Ну и мы в моленную... Больше некуда, определились под Богом жить. Большая комната розовой занавеской

надвое разделена, это еще с тех пор, когда молились тут, по одну сторону мужики, по другую бабы в долгих юбках, а по стенам иконы. Много икон. Где икон не было, там мы поселились. Молиться уже никто не ходил, иногда только старухи собирались. Вот и жили там. Даже сон свой помню: будто мы опять за болотом, опять темный барак, с потолка каплет... Испугалась, проснулась — нет, в моленной мы, в моленной... Вот и хорошо, вот хорошо- то как...

А тятенька у маменького отца, дедушки Василия, скрывался, верстах в пятнадцати от нас — в Шипициной. В завозне прятался, грабли делал, черенки к вилам. Дедушка с мамонькиным братом жил — дядей Афоней, у тех своя семья, боялись, что кто-нибудь узнает, что они тятеньку прячут, худо им будет. А тятеньке — куда деваться? После выказал кто-то, забрали его и в Пологрудово угнали. В тюрьму.

Ну, а нам как-то надо жить, кормиться надо. Тятеньку взяли, да он ничем и помочь не мог. Отослала меня мамонька туда же в Шипицину, к дяде Афоне. Только и меня там стало не надо, отдали дяде Ване. Они с теткой Агафьей трех коров держали, уедут на покос или страду, а я дома управляюсь, дою этих коров. После на маслозавод ведра несусь на коромысле. Тяжело, одиннадцать лет мне было, попрошу иногда соседку тетку Марфу пособить, налью ей сливочник молока, дядя узнал, ругал шибко: «Сама нахлебница, а еще работницу нашла». Скупой был. Себе всего горшочек молока оставляли. А мне ведь тоже охота, возьму хлебушка и макну, еще возьму кусочек и макну... Уличил меня — крошки в молоке... Отдали к дяде Грише с маленьким водиться. А как ребеночек заснет, шерсть заставляли пряхть. Только и там мне отказали, отправили за двадцать километров к Квашне. Ну, фамилия такая у него была — Квашня. Он со снохой жил, маленькая росточком бабенка, и девочка у них махонькая. Бедно жили — стол, кровать, шкаф в горнице, в шкапу сахарница, комочек сахара там один только, серенький такой... А к соседям пойду, у тех всего много. Двое близнецов у них в красненьких рубашечках. Охота было к ним. А то на Иртыш пойду, мужики на берегу бревна тешут, сяду возле них, сижу. Они не гонят, мне и хорошо, ладно... После Квашня девочку в ясли определил, стала я лишняя. Отправили к тете Жене. Они с мужем своим, дядей Костей на квартире у какой-то бабушки в избушонке жили. Дядя Костя ко мне хорошо относился, дочкой называл, там хорошо было. Помню — как-то втроем плыли на лодке, и Дядя Костя с тетей Женей песню пели: «Горит, горит село родное...». Ох, как хорошо пели, как распевно, в два голоса... Он начнет, она подтягивает. А у меня слезы в горле то ли от того, что тятенька эту песню любил, то ли предчувствие какое... Река тихая, гладкая, тени от берега на воду пали, а они поют, поют...

А наши всяк по себе живут. Тятенька — в тюрьме, только мамонька с Шуркой вместе, да еще бабонька с ними. Мамонька в поле картошку посадила, капусту. Ходила работать на базу, мела и мыла там, мучные кули вытрясала, а сметки разрешали домой приносить. Ящик муки накопила. Если б не сметки, может, когда нас второй раз сослали, не выжили бы, померли б с голода... В Большеречье хотела мамонька в колхоз вступить, пошли с Аграфеной, тоже из раскулаченных, на собрание, а их не приняли, прогнали оттуда... Летом приехала меня попроведать. «Возьми меня, — прошусь, — домой». А какой дом? Нет ничего... «Живи тут, Маруська. Куда тебя девать? Живи тут». А мне домой охота, шибко домой охота. Пожалела, взяла... Опять в ту моленную. Я и сейчас ее иногда во сне вижу... Светло, опрятно, ладаном пахнет... Полянка возле моленной снится — трава незатоптанная, нигде не наслежено. Трава и ромашки по ней...

Евдокия:

А я, когда нас еще за Кулай везли, с Петровского хутора убегом воротилась. Ране, когда из дома выгоняли, так председатель сельсовета, бабенка из беднячек, говорила нам с Клавдией: «Порвите

связь с родителями, вас двоих не тронем». Куда же мы от отца с матерью? Грех отказываться. А после, когда уже на хуторе судьбу ожидали, Клавдия вызнала, будто все же некоторых девчонок намеряются домой отпустить. «Я, — говорит, — в том списке есть, а тебя, Дуська, нету. Только, мол, одна из тех девчонок от родителей отставать не хочет, поэтому, когда завтра всех собирать станут, вместе пойдем, может, тебе за- место нее удастся...» Пошли. Военный по списку выкликать стал, до той девки черед дошел, а я-то позабыла, на каку фамилию мне Клавдия сказала откликнуться. Стою, молчу. Тот вдругоряд спрашивает: есть, мол, здесь такая? Клавдия меня под бок тычет — отзывайся! «Тут я, — кричу, — тут!» Набралось молодых поболее десятка, да еще одну беременную бабу отпустили. Конишко нам дали. В первой же деревне у той бабы роды начались. Осталась с дитем. Едем, припасу ни у кого нет, побираемся по деревням, кто хлеба нам вынесет, кто картошки...

До Волынеречья добрались, куда идти? — к бабоньке в моленную. Встретила нас, заплакала: думала, боле не свидимся. Стали мы с Клавдией ходить на работу — клепку проволокой в пучки связывать и таборить. Большущие пучки, едва подымаем вдвоем. С нами еще три девки работали. Уплатили нам пятерым за месяц всего десять рублей...

Клавдия тогда в каку-то семью нянькой нанялась, а мне бабонька присоветовала: «Ступай, Дуська, к тетке Настасье, може, она тебя возьмет». Та и приняла. Домовничаю у нее, корову дою...

Мамонька с Маруськой и Шуркой к Троице воротились, а тятю не слышать. Раз прихожу к дяде Сане, гляжу — кто-то одеялом укрытый лежит. Спрашиваю: «Кто?» Тетка Анисья палец к губам приложила: «Тс-с... Отец твой из-за болота пришел». Да только они его долго держать не стали, пришлось ему к дяде Афоне уйти, там в завозне лето скрывался.

А я у тетки Настасьи. Сын у нее был Колька, одногодок мой, сама она на артельной работе, а мы с ним на огороде картошку копаем. Ведро самоковочное, желтой краской покрашеное, большущее, тяжелое. Накопаем полнехонько, насилу вдвоем тянем. Когда прошлый год в Большеречье ездила, так к этому Кольке заходила. Пьяный сидел за столом. Старый, седой. Спрашиваю: «Узнаешь меня?» — «Нет, не признаю». Стала напоминать... Вспомнил. Даже то ведро тяжелущее вспомнил: «Так это ты, Дуська...»

Ну, а когда картошку выкопали, тетка Настасья мне говорит: «Не объешь ты меня, Дуська, а боюсь людей, скажут — работницу держу. Ступай к тетке Ольге, може, она не прогонит». Заплакала я, пошла к тетке Ольге проситься... Живу у нее, как-то по ягоду за Иртыш с девчонками чужими поехала, мало ягод набрала. «Ничо, — говорю, — тятя хватит пометь. Тятю накормлю...». Выдала его нечаянно.

Может, и не виновата, может, кто-то другой дознался, забрали его в тюрьму в Пологрудову. Посадили за то, что из-за болота ушел, семью свою спасал... А меня вскорости тетка Ольга к дяде Афоне в Шипицину спихнула. Зима настала, как-то дядя Афоня говорит: «Слышь, Дуська, седни отца твою в Тару погонят, поедем на тракт, може, свидимся с ним». Конь у дяди был Бельчик, резвый такой конь. Сбрую на него надел самолучшую, дугу резную. Наша дуга была, тятина. Вырядил коня, ровно к свадьбе. И дядя Ваня запряг свою Воронка, тоже с нами ехать. Да не успели, прошел уже этап. Помчали коней другой дорогой, наперерез. На тракт с разъезда выскочили — вон они гонят под конвоем. Страсть сколько мужиков, аж черно. Тятю увидели — худой, еле шагает, видно, ноги потер. Я руки раскинула, кинулась к нему... Милиционер меня прикладом в грудь. Тятя оглянулся молчком... И все...

После по родне да по людям скиталась.никто долго не держал, боялись. Раз как-то в наш дом насмелилась зайти. Все уже разорено было — полати, лавки... Запечники сожгли. Ворота тятя ставил с резьбой, голубой краской красил — и тех нет. Все разорили.

Мария:

А весной велели нам опять готовиться в дорогу: «Ликвидируем кулаков, как класс...». Уж не помню — то ли мамонька сама всех нас накануне собрала, то ли пригнали к нам старших девчонок... Пошли мы фотографироваться в конец улицы, то место почему-то Гоголевкой называлось, кирпичная стена там стояла, от церкви, поди. Шестнадцатого мая тридцать первого года. Маленькая карточка, пятиминуткой называлась. И сейчас она цела, только лица уже плохо различить. Потом нас до самого отъезда в моленной держали. На двери замок, и милиционер стоял. Через три дня повезли под конвоем в Такмыцк. И бабоньку на этот раз тоже с нами. Согнали народ с четырех районов: Большереченского, Колосовского, Муромского, Кыштовского. Согнали в завозню на берегу, там и ночевали. У пристани баржи причалены — две для людей, две под скотину, сено привезли, плуги, бороны... Долго баржи грузили, потом народ в трюм погнали. Потянул буксир вниз по Иртышу...

Анна Васильевна:

В дороге люди помирать стали. Старые и малые в первую очередь. Как покойников наберется много, притыкались к берегу хоронить. Свекровушка богу душу отдала... Уже по Васюгану везли, лежала на палубе на бревнах, лежала не подымалась. Тяжело она помирала, так жалко было... Когда одиннадцать покойников набралось, причалили баржу, милиционеры народ в трюм согнали, шестерых мужиков оставили тела выносить. Афанасий Непомнящих телегу ободрал, сколотил с тележных досок свекровушке моей гроб, остальных так зарыли. Потом в Красноярке Афанасий как-то сказал мне: «Знаешь, где Варвара похоронена? Как Кильсину проедешь, гора по леву руку, так на той горе». После, когда я Марусю в Средний Васюган учиться отправила, поехала с Настасьей на обласке ее попроведать, проплыли мимо Кильсиной, гляжу —вон она, та гора. Говорю: «Давай пристанем, здесь моя свекровушка похоронена». Полезли с Настасьей в гору — бурелом, чащобник, все заросло. Семь лет прошло, а уже ничо не знатко. Так и не нашли место. Только спокойна, что схоронили как следует, в гробу, и смертна одежда была припасена. Царство ей небесное...

Ох, вспомню, непереносимо становится. Хавроньюшке, Афониной жене, косы обрезала. Занемогла она, жар по ней, горит... «Обрежь мне, Аннушка, косы». А они у нее длиннющие, толстые... «Как же резать? Нешто не жаль тебе?» — «Не жаль, Аннушка, тяжело мне от волос...». Обрезала. Плачем обе. Крестик у нее был на груди и ладанка. Достала мне из нее два золотых: «Возьми, Аннушка, не обессудь на большем... Помираю я». Господи, за чо народ изничтожали?

Евдокия:

Варить к плите по дороге не допускали, котелки люди составят на палубе, матросы всем в рубке варят. Покуда очередь дойдет... Стою раз, дожидаясь своо котелка, а пожилой матрос глядит на меня печально так. «Отца-то нет у тебя?» — спрашивает. «В тюрьме наш тятенька... Четверо девчонок нас, мамонька с нами, да бабонька старая».

«Иди-ка сюда», — говорит, В рубку зашли, со стола и шкафчиков хлеба мне насобирал: «Держи подол». Насыпал полнехонек кусков, вышел, посмотрел вокруг: «Ступай быстро, покуда милиционер не видит». Жалостливый был, милиционеры, те не жалели. Наши деревенские дома остались, другие к нам были приставлены, ежели селений по берегам не видать, разрешали на

палубе обитать, как деревня покажется — в трюм загоняли. Мамонька как-то замешкалась, огрели прикладом, насилиу отошла.

Месяц везли. Дни долги, ясны, куда ни глянь — солнышко с реки глаза слепит. То по праву руку подымалось, а с Иртыша на Обь вышли — по леву руку стало выходить. Народ говорит — обратно к дому плывем. Да уж какой теперь дом... Раз утром глядим — вода под бортом черная, как навозная жижа, берега придвинулись, плесы коротки. В трюм уже не загоняют, на крутоярах кое-где редкое жильё видать: бараки, землянки — знать, еще до нас люди поселены. Перекликаются с ними мужики с баржи: «Что за река?» — «Васюган!» — «Кака тут жизнь?» — «Гибельная». С берега кричат: «Чьи вы? С какого райо-о-ну?» Наши им: «А вы чьи? Откельзавезенные?» Катится по реке: «Чьи вы? Чьи вы?» Потом и поселков не стало, берега тесней, тайга черней, на тальниках по приплескам мокрый ил лох мотами висит. К берегу причалимся, покойников схоронят, дальше плывем...

На сколькой-*то день приткнулись к крутояру- Из тайги в реку лог,, как ущелье, разверстый, землянка на яру, возле два коменданта дожидаются: «Большереченские и колосовские, выгружайтесь!». Начали по трапу ребятишек малых выносить, телеги скатывать, плуги... У одного плуга колесуха соскользнула, оборвалась в воду, только ил из глуби закрутился...

Мы свои кули со шмутками вынесли, с ящиком выкарабкались наверх, лазаем по чащобнику, свою кучу найти не можем. Лес — заломил головушку, в небо дыра, от комаров никакого спасу нет... Тяга бы с нами — легче бы было... У многих мужики по тюрьмам да в бегах. Привезли в глухую тайгу баб с ребятишками обездоленных. Померших в дороге из списков вычеркнули, живым объявили: сосланы вы сюда на вечное поселение, и название вам теперь — спецпереселенцы.

Еще дома, в Большеречье, неподалеку от нас двое стариков жило. Девчонка у них приемная была — Шурка, младше меня годами. Избенка ихняя в землю глядела, ворота прожилыниетаском открывались, никакого богатства не было. Как-то мне мамонька с тетки Васили-синой юбки платьишко сшила, так, когда первый раз нас из дому выгнали и наше добро с торгов пошло, те старики это платьишко для своей Шурки купили. А после, когда мы из-за болота воротились, велели ей отдать платьишко нам. Не схотели на чужой беде наживаться. Так и их с Шуркой тоже на Васюган привезли. Старики в первую же зиму померли, осталась Шурка одна. За чо их сослали? За чо она страдала, бедная?

Мамонька в дороге крепилась, а высадили в тайгу — захворала шибко. Ютимся в берестяном балагане, дым глаза ест, лес шумит, мамонька замучена... На край света завезенные, по солнцу понять можно, в какой стороне дом, а сколько до него — Бог весть. Как-то с Ванькой Баженовым пошли по грибы, заблудились в тайге, блукали, блукали, увидели просвет, а там свежи кресты, поодаль балаганы берестяные, землянки... А это люди, которые с нами на барже плыли с Муромцевского району, тут поселены. По реке далеко, а напрямки всего километра три. Спрашивают: «Откель вы?»

Мужики взяли бараки опять рубить, бабы мох дерут, бревна подтаскивают, пазы конопатят. Кто работает — тому четыреста граммов муки на день, иждивенцу — двести... Помирать стали, с голоду, от тифа... Самый мор зимой начался, каждому покойнику не успевали могилу копать, вырыли на всех две большущие братские, клали гробы подряд...

Кто выжил, те весной корчевали тайгу под поля, избы рубили — народ из бараков переселять. Я глину таскала, била кирпичи, сорок штук набыю — мамонька их калить принимается. Потом на

пихтовый завод меня послали. Это только название «завод» — землянка там, печь, чаны деревянные, да барак рядом поставлен. Где хороший пихтач найдут, там и ставили — километров за пятнадцать, а то и далее от поселка. Вязанками пихту через колдобины и валежник таскать — сила нужна, посылали молодых. Сорок ден отработаем, в поселок отпускают. Охота домой, бывало, в ночь пойдём, бересто на палках жгём, идем ватагой по тайге...

Дома отдохнем, в бане намоемся — вечером в клуб. Построили незадолго перед войной — половицы широкие, окна большие... Хлеб свой колхозный уже был, на трудодни получали. Ранешнее вроде забываться стало, вроде так и должно было все с нами быть, пляшем под гармошку в клубе, только стукоток стоит. Молоды, весело...

Война началась, враз все пролетело. Ребят из спецов поначалу на фронт не брали, только на друго лето уравнили с вольными. А как войну объявили, привезли к нам откель-то ссыльных. Которые из них и по-русски не знали. Много ихних прибралось, лежат на одном погосте — наши деревенские и они. Земля не спрашивает — чей ты? За что сослан — не спрашивает... И сколько ты на свете прожил — шестьдесят лет или шесть годочков?

Все под гнетом жили. Война, а еще и спецы к тому же. Запуганы были. Голодны, раздеты, разуты... Начальников боялись, финагентов. Этих пуще всего. Приедет и начинает в контору вызывать... А то целая бригада наедет, прокурор, начальник милиции. Налоги большушши, а где деньги взять? Ведь, считай, задаром работали, когда, верно, за тебя колхоз сколько-то уплатит налогу, так ведь и у колхоза денег нет. В отчетный год станут вычитывать не то сколь получить, а сколь должен остался... Тятеньку финагент вызовет, страшает, страшает... Тятенька тогда уже к нам к Красноярку приехал. А где он денег возьмет? Посидит в конторе на лавке у двери и домой воротится. Бледный, трясется. Он же смиренный был, никому супротив слова сказать не мог. Только воротится, следом опять посыльная, сызнова вызывают. Скажет мамоньке: «Ступай ты, Анна». «Нет, ты ступай...». Господи, все одно кому-то идти надо. Судили за налог, срок давали. Которые бабы на всю зиму бросали ребятишек, уезжали на лесозаготовки на налог заработать.

Я на лесозаготовках зимой мужицкую работу делала, возчиком была, сутунки из деляны вываживала. Как-то приходит из дому письмо, тятеньки уже в живых не было, мамонька печатными буквами пишет: «Описали за налог самовар, постель и картошку в подполе. Ежели пятьсот рублей не пришлешь, все отберут». У меня заработанных двести рублей было, да и те долго не отдавали. Пошла к мастеру Христом Богом просить. Пожалел: «Ступай на сплотку, там больше заработок». Пошла на плотбище лесины накатывать, ромжины заламывать. Жилы вытягивала, того и гляди все внутри оборвется, кисти рук пообморозила, кожа полопалась. Выслала мамоньке пятьсот. А то картошку из подпола бы выгребли, ложись и помирай...

Где ж оно теперь, здоровье, будет, если все там отдалено? Зимами в лесу, летом в рыболовецкой бригаде. Вспомнила сейчас — раз на обласке из ропажей на Васюган выплыла, а там вал у-у какой страшный, сплошной белик, того и гляди перевернет. А впереди из воды топырчина выдалась, я наискосок вала обласок держу да оплошала, наехала на эту топырчину. Крутит меня вал, захлестывает, вот ни вот погибель... Родительско благословение спасло — снесло обласок. Домой приехала, отогреться на печи не успела — в контору вызывают, прокурор приехал. Как он на меня кулаком стучал, аж чернильница на столешнице прискакивала: «План не выполняете, а ты с лова приехала! Судить будем! Судить!». А рыба в тот год плохо ловилась, мало сдавали. Хоть чо делай, не ловилась. Уж как он стращал, как стучал кулаком! А уполномоченный, бывало, приедет к нам на рыбалку, перво-наперво палкой золу в кострище ворошит — нет ли там рыбных костей, всю

рыбу сдавать было велено, себе нельзя варить... Батюшки, чо только начальство над нами делало, чо только делало...

А то вспомнилось, как осоку в ляге косили. Только один покос был, где посуху, а то все в ляге, все в ляге... Кочки высокие, цельный день по воде, мокрый подол по голяшкам хлещет, мошка заедает... Как-то раз откосилась, пошла по курье ягоду побрать, вышла на тако место, где никто сроду не бывал — голубицы там синим-сине. Ох, сколь ее было! Спужалась брать. Зверя спужалась. Думаю — после как-нибудь на это место приду. Да так и не удалось туда больше попасть... До сего времени помню, сколь ягоды было. Намедни во сне видела — синим-сине... К слезам, говорят, ягода снится.

Все где-то осталось — молодость, здоровье... Детство вовсе Бог весть где... Сколь лет собиралась съездить на родину, да все чо-то мешало — то чужих детей растила, то гряды надо полоть, то картошку окучивать. А прошлой осенью собралась, в огороде прибрано, зимы еще нет — печь в избе топить не надо — надумала и поехала. Пятьдесят шесть лет не была в Большеречье, как из дому выгнали, не была. Приехала, попервостиничо узнать не могу — дома новые, улицы новые, старых построек почти не осталось. Нашего дома и следу нет. Когда нас на Васюган угнали, к нему прируб сделали, курятник там был колхозный. Затем перевезти надумали, раскатали да бросили. Так бревна и погнили. Большой был дом, светлый, окошки с наличниками высоко от земли. Тятя хотел крышу перекрывать, а как стали говорить, что раскулачивать будут, листовое железо где-то в поле спрятал. Ничо нет — ни железа того, ни дома. И тяти давно нет. У Бородина, соседа нашего, тоже хороший дом был, этот, сказывали, недавно сгорел. Только ворота стоят. По рисунку узнала. Темные, а рисунок знатко, никуда рисунок не денешь. Красива резьба, покрасить бы, так еще бы как гляделась... У дяди Афони дом цел, попросилась зайти поглядеть — потолок низкий, окошки осели, все старю, а крылечко еще то, знакомое. Вот ведь как...

Когда девчонкой была, лес от села шибко далеко за поскотиной рос, теперь деревья возле самых домов. То ли выросли, то ли село к лесу подступило... На кладбище старом один-одинешенек крестик стоит. И кустик возле него. А рядом пятиэтажный дом на могилках.

Все хотела спросить — чо же, когда нас увезли, люди, которые там остались, говорили? Радовались ли, чо ли?

А чернозем с нашей усадьбы на мичуринские участки теперь возят, самосвалы насыпают и увозят. Шибко плодородная земля, сколь лет на ней жили... Упала бы на нее, охватила руками, ревела бы дурнинушкой. Постояла на том месте, чуть сердце не зашло. Батюшки, како гонение было, како гонение...

Александра:

А отец к нам в Красноярку приехал на третий год. Я его чуть помнила — только серые глаза и усы, которыми он когда-то щекотал мое лицо. Иногда будто во сне вижу — стою на высокой кочке, кругом рыжее болото, вода, а он уходит. Это, когда он нес меня, заблудился и пошел искать дорогу. А я плачу, боюсь — уйдет насовсем... После этого, наверное, лет пять прошло, в тот день мама таяла в огороде картошку, помню, кто-то из женщин крикнул: «Аннушка, Дмитрий Семеныч твой приехал!» Бывало, раз в полмесяца пароход еще только где-нибудь далеко-далеко загудит, уже все спешат на берег, а в тог раз не было парохода, отец на попутном катере приехал... Мама таянку бросила, побежала, я — за ней. Спустились по взвозу, вижу — стоит на песке у воды. Высокий, простоволосый, в руке котомка. Не помню, как они с мамой поздоровались, обнялись, наверное, тогда ведь не так, как сейчас, все строже было, совестливей. Мама босая, и я босиком,

платьишко на мне линияло... Стою молчком. Отец спрашивает: «А это чья девчонка?» — «Так это же Шурка наша...», — «Ну, язви тебя, какая стала длинная, черная...» Не узнал. После того, как меня из-за Кулая вынес, ни разу не ведал.

А до того прислал нам посылочку — маленькие кусочки хлеба, черные, за-кляклые, как ириски. Возьмешь в рот, пососешь, только тогда чуть-чуть запах хлеба почувствуешь. Наверное, от своего пайка отделял. Как он сберег, как сумел послать — не знаю. Сестры мои до сих пор вспоминают: «Тятечка из тюрьмы хлеба прислал». И как он там жил — не знаю, может быть, маме и рассказывал, а мы, девчонки, не узнавали. Сейчас бы все расспросил, а тогда не спрашивали. Трудно жил, и все.

Помню полянку около нашего дома в Большеречье. А, может быть, была она возле моленной, где мы сколько-то еще прожили после того, как нас из дома выгнали. Маленький кусочек детства там, остальное в Красноярске... Помню — старшие уйдут на работу, оставят мне маленькую каралечку хлеба на весь день. А я управляюсь в избе, голиком пол подмету, в огороде куженьку зелени нарву, чтобы вечером похлебку сварить... Скорей, скорей, чтобы управиться, пока на дворе не стало совсем жарко, и тогда быстрее к плетенному коробу, который зачем-то стоит в огороде. А из соседней избы приходит уже тоже управившаяся к этому времени соседская МорькаШумова со своей испеченной пополам с картошкой колобашкой. Садимся на короб, начинаем качаться и есть. Иногда менялись — Мотька мне свою колобашку отдаст, я ей каралечку. Едим медленно, чтобы продлить удовольствие. У каждого в детстве свои радости, у меня — вот такая... Пол в избе почему-то любила по субботам мыть. Прошу у мамы: «Мама, я буду пол мыть, ну, ма-ама...» Скажет в сердцах: «Мой, если так охота, только ладом». А пол осиновый, некрашенный...

Ягоду в тайге брала. Одна себе босиком... Неохота идти — ноги в занозах, в ссадинах, змей боюсь, а мама посылает. Приду из лесу, скажет мне вечером: «Ты прямо, как в пригоне полнехонько ведро почерпнула», В сельпо ягоды сдаст, мне материи на платьишко купит, чтобы осенью в школу идти.

А о всем страшном, тяжелом — не хочу. Зачем? Вспоминается иногда запах от корзины, наполненной брусникой или грибами... Крупные темно-красные ягоды, желтые грузди с нальнувшими хвоинками, розовые волнушки, белянки, как пяточки...

Идем по поросшей травой елани, на которой стояла наша убогая Красноярка. Стояла тридцать лет назад... Но эти тридцать — половина нашей жизни. И так же, как тогда, моет васюганской водой слоистый крутояр, но уже нет изб, вымахала по пояс трава, и теснит чистину обступивший осинник. Возле заросшего речного взвоза одиноко маячит перевезенный нефтяниками из Среднего Васюганодомишко, в котором, ожидая смены, коротают время двое вахтовиков, подальше на взлобке, где когда-то стоял конный двор, серебрится нефтяной бак, от него тянутся трубы к реке и в тайгу, к невидимой отсюда скважине. В стороне рвется из-под земли рыжий факел — газ сгорает.

Шли по чащобнику, искали кладбище, раньше казалось — не так уж близко оно от деревни, и вдруг оказалось рядом. Все стало под одно — бывшая деревня, кладбище... В прежнюю пору возле него было гумно — гудела по осеням молотяга, хлопала, нагоняя дощатыми крыльями ветер, веялка, пахло соломой, мякиной, зерном... Прогалину, где молотили хлеб, можно определить и сейчас — трава тут выше, гуще, темней. А на погосте вымахал лес — осинник, березник, рябины... Бурелом, чаща, почерневший слой прелых листьев. Холмиков почти не знатко, лишь осевшие ямы, много ям... Увидели поваленный трухлявый крест, неподалеку еще

две замшелые, лежащие на земле перекладыны. На всем кладбище лишь два креста, а по ямам, по насыпанным когда-то скорбным холмикам тянется промятая тракторами и автомашинами дорога — нефтяники проложили зимник. Летом берегом Васюгана не проехать — топи, речушки, рямы... Зимой ездят. Раньше в десяти шагах отсюда была проселочная дорога. Возили снопы, зерно с гумна, ездили в поле с плугами, жатками... И сейчас эта дорога еще светлеет просекой. Зачем же по кладбищу? Зачем напролом по крестам, по осевшим могилам? Зачем?

На одном из уцелевших крестов можно разобрать надпись: «Рыженковы — 3 человек». Они не похоронены вместе, лежат порознь, их родные приезжали сюда и, не найдя могилки, поставили один крест всем восьмерым. Второй нахилившийся крест на могиле моего тестя Дмитрия Семеновича Беспрозванного, безответного, истового в работе мужика. Сколько теса и плах напилил он для колхоза маховой пилой, сколько крутобоких стогов сена сметал! Помню, как первой послевоенной весной послали его засеивать протянувшиеся вдоль реки узкие полосы земли, переходившие в большое поле, за которым начиналась гарь с редкими почерневшими лесинами. Внизу под яром был речной омут, нахолодавшая за зиму зябь по увалу еще не согрелась, в бороздах на кромках полей лежал зачерствевший снег, а он, засучив до колен холщовые портки, шагал с оттягивавшей плечо севалкой, горстями раскидывая по полю семенное зерно. На лице его было страдание. Никогда прежде крестьянин не стал бы бросать зерно в мерзлую землю, подождал бы, пока прогреется пашня, заструится над ней теплее марево, и тогда уж не плошай — сей. Но уполномоченный по посевной страдал и гнал, чтобы первым рапортовать о начале сева... И ходил босой кулак, спецпереселенец, кидал в стылую землю семена, плача от горечи и бессилия. Плакал, что напрасен его труд, и не уродится хлеб на колхозном поле. Я видел эти слезы. Я возил семена на телеге той весной...

Помер он следующим летом. Измаянный болезнями, надсаженный работой. Рубаха у него была одна-единственная, и та заплатата на заплате, завернули исхудалое тело во что-то, гроб Анна Васильевна с дочерьми несли на себе, председатель колхоза коня не дал — покос, все кони за рекой, сено надо было метать.

Тишина. Только временами печально шелестит вверху листва, да надсадно, зло гудят в сырой тени комары. Вкопали глубже изглоданный временем высокий крест. Всплыло в памяти: «Тятенька из тюрьмы хлеба присылал...» Поклонились могиле, попытались припомнить, где еще здесь схоронены те, кого мы знали. Кого-то из зарытых здесь есть кому помянуть, кого-то уже некому.

От Красноярки до Маломуромки было когда-то меньше часа ходьбы. Мы и пошли туда пешком. Случалось, когда жил я уже в городе, одолеет ночью бессонница, и мысленно иду и иду по этой дороге, припоминая каждый перелесок, каждое поле на том пути... Вот за деревней гать через болотину, по правую руку сверток к крытому почерневшей соломой сараю, дальше узкая полоска поля, мостик через ложок, две слуги, накатник, едет кто на телеге — прогромыхают колеса, пересчитают тесаные бревешки... На полпути — Пономарева полоса. Выйдешь из осинника на край поля и видишь кроны трех высоких сосен. Впрочем, зачем сейчас про эту дорогу? Я не о ней и не о Муромке, которой нет, не о всех спецпереселенческих поселках, где все поросло травой забвения, где обвалившиеся ямы, замываемые дождями кирпичи, погнившие мостики, гати, упавшие кресты... Я не об этом, я о другом — зачем все это было? За что было гонение?

Господи, ну за что же?

